

To Lorna and Naomi

England, late 1990s

PART ONE

Chapter 1

My name is Kathy H. I'm thirty-one years old, and I've been a carer now for over eleven years. That sounds long enough, I know, but actually they want me to go on for another eight months, until the end of this year. That'll make it almost exactly twelve years. Now I know my being a carer so long isn't necessarily because they think I'm fantastic at what I do. There are some really good carers who've been told to stop after just two or three years. And I can think of one carer at least who went on for all of fourteen years despite being a complete waste of space. So I'm not trying to boast. But then I do know for a fact they've been pleased with my work, and by and large, I have too. My donors have always tended to do much better than expected. Their recovery times have been impressive, and hardly any of them have been classified as "agitated," even before fourth donation. Okay, maybe I am boasting now. But it means a lot to me, being able to do my work well, especially that bit about my donors staying "calm." I've developed a kind of instinct around donors. I know when to hang around and comfort them, when to leave them to themselves; when to listen to everything they have to say, and when just to shrug and tell them to snap out of it.

Англия, конец 1990-х

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам. Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я проработала еще восемь месяцев — до конца года. Получится почти двенадцать лет. Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому держат столько времени, что считают мои успехи фантастическими. Бывали отличные помощники, которым приходилось поставить точку всего через два-три года. С другой стороны, я знала одного, у которого это длилось полных четырнадцать лет, хотя он был настоящее пустое место. Так что я не ради хвастовства говорю. Но все-таки я точно знаю, что они довольны моей работой, и я сама в целом тоже довольна. Состояние моих доноров чаще всего бывало гораздо лучше ожидаемого. Реабилитация шла быстро, и почти никому не писали «возбужден» — даже перед четвертой выемкой. Согласна, сейчас уже, наверное, хвастаюсь. Но это очень много для меня значит — ощущение, что я хорошо делаю свое дело, особенно ту его часть, что должна помочь донору оставаться в категории «спокойных». У меня развилось какое-то внутреннее чутье по отношению к ним. Я знаю, когда надо подбодрить, побыть рядом, когда лучше оставить одного; когда терпеливо выслушать, что он говорит, когда просто отмахнуться и сказать, чтобы переменил пластинку.

Anyway, I'm not making any big claims for myself. I know carers, working now, who are just as good and don't get half the credit. If you're one of them, I can understand how you might get resentful — about my bed-sit, my car, above all, the way I get to pick and choose who I look after. And I'm a Hailsham student — which is enough by itself sometimes to get people's backs up. Kathy H., they say, she gets to pick and choose, and she always chooses her own kind: people from Hailsham, or one of the other privileged estates. No wonder she has a great record. I've heard it said enough, so I'm sure you've heard it plenty more, and maybe there's something in it. But I'm not the first to be allowed to pick and choose, and I doubt if I'll be the last. And anyway, I've done my share of looking after donors brought up in every kind of place. By the time I finish, remember, I'll have done twelve years of this, and it's only for the last six they've let me choose.

And why shouldn't they? Carers aren't machines. You try and do your best for every donor, but in the end, it wears you down. You don't have unlimited patience and energy. So when you get a chance to choose, of course, you choose your own kind. That's natural. There's no way I could have gone on for as long as I have if I'd stopped feeling for my donors every step of the way. And anyway, if I'd never started choosing, how would I ever have got close again to Ruth and Tommy after all those years?

But these days, of course, there are fewer and fewer donors left who I remember, and so in practice, I haven't been choosing that much. As I say, the work gets a lot harder when you don't have that deeper link with the

Так или иначе, я не считаю себя кем-то особенным. Я знаю помощников, они и сейчас работают и выполняют свои обязанности не хуже меня, но далеко не так ценятся. Можно понять, если кто-нибудь из них и завидует — моей однокомнатной квартире, моей машине, но в первую очередь тому, что мне позволяют самой решать, о ком я буду заботиться. Ко всему я еще и воспитанница Хейлшема — одного этого иногда хватает, чтобы на меня посмотрели косо. Эта Кэти Ш., говорят они, может выбирать кого захочет и выбирает только своих — воспитанников Хейлшема или какого-нибудь другого привилегированного заведения. Само собой, она на хорошем счету. Я наслушалась такого достаточно, а вы наверняка еще куда больше, и, может быть, своя правда тут имеется. С другой стороны, я не первая, у кого есть право выбора, и, думаю, не последняя. Как бы то ни было, разве я не отработала свое с донорами из всевозможных других мест? Не забывайте, что к тому времени, как я кончу, за плечами у меня будет двенадцать лет, и только последние шесть из них мне разрешают помогать кому сама захочу.

И правильно делают, по-моему. Помощники ведь не автоматы. С каждым донором стараешься изо всех сил, и под конец это может вымотать. Запас терпения и энергии истощается. Поэтому когда есть выбор, разумеется, выбираешь своих — это естественно. Разве я продержалась бы так долго без общности с донорами, без сочувствия к ним от начала до конца? И, безусловно, не могла бы выбирать — не сблизилась бы снова, спустя годы, с Томми и Рут.

Но чем дальше, тем, конечно, меньше и меньше остается доноров, которых я знаю по прошлым годам, так что на практике я пользуюсь своим правом не слишком уж часто. Как я уже сказала, дело идет ку-

donor, and though I'll miss being a carer, it feels just about right to be finishing at last come the end of the year.

Ruth, incidentally, was only the third or fourth donor I got to choose. She already had a carer assigned to her at the time, and I remember it taking a bit of nerve on my part. But in the end I managed it, and the instant I saw her again, at that recovery centre in Dover, all our differences — while they didn't exactly vanish — seemed not nearly as important as all the other things: like the fact that we'd grown up together at Hailsham, the fact that we knew and remembered things no one else did. It's ever since then, I suppose, I started seeking out for my donors people from the past, and whenever I could, people from Hailsham.

There have been times over the years when I've tried to leave Hailsham behind, when I've told myself I shouldn't look back so much. But then there came a point when I just stopped resisting. It had to do with this particular donor I had once, in my third year as a carer; it was his reaction when I mentioned I was from Hailsham. He'd just come through his third donation, it hadn't gone well, and he must have known he wasn't going to make it. He could hardly breathe, but he looked towards me and said: "Hailsham. I bet that was a beautiful place." Then the next morning, when I was making conversation to keep his mind off it all, and I asked where he'd grown up, he mentioned some place in Dorset and his face beneath the blotches went into a completely new kind of grimace. And I realised then how desperately he didn't want reminded. Instead, he wanted to hear about Hailsham.

да тяжелее, когда с донором нет хорошей внутренней связи, поэтому, хотя мне будет не хватать обязанностей помощницы, поставить точку в конце года будет, пожалуй, в самый раз.

Рут, между прочим, была только третьим или четвертым донором, которого мне разрешили выбрать. К ней уже была до этого приставлена помощница, и мне, помню, пришлось добиваться, чтобы Рут передали мне. Но в конце концов я это устроила, и едва я ее вновь увидела — в центре реабилитации в Дувре, — все, что нас разделяло, не то чтобы исчезло, но стало куда менее важным, чем другое — например, то, что мы вместе выросли в Хейлшеме, то, что мы знали и помнили такое, чего не знал и не помнил больше никто. Думаю, именно с тех пор я, чтобы выбрать донора и стать его помощницей, начала искать людей из моего прошлого, и прежде всего из Хейлшема.

Бывало за эти годы и так, что я пыталась оставить Хейлшем позади, говорила себе, что не надо все время оглядываться. Но потом всякий раз наступал момент, когда я переставала сопротивляться. К этому имеет отношение один донор, который был у меня на третьем году работы в качестве помощника. Точнее, его реакция, когда он узнал от меня, что я из Хейлшема. Он только что перенес третью выемку — перенес тяжело и, должно быть, знал, что не вытянет. Он едва дышал, но посмотрел на меня и сказал: «Хейлшем. Там, наверное, было замечательно». На следующее утро, когда я разговаривала с ним, чтобы его отвлечь, и спросила, где вырос он сам, он назвал какое-то место в Дорсете, и его лицо, покрытое пятнами, сложилось в какую-то совсем новую гримасу. Я поняла, как ему не хочется таких напоминаний. Вместо этого он хотел слышать о Хейлшеме.

So over the next five or six days, I told him whatever he wanted to know, and he'd lie there, all hooked up, a gentle smile breaking through. He'd ask me about the big things and the little things. About our guardians, about how we each had our own collection chests under our beds, the football, the rounders, the little path that took you all round the outside of the main house, round all its nooks and crannies, the duck pond, the food, the view from the Art Room over the fields on a foggy morning. Sometimes he'd make me say things over and over; things I'd told him only the day before, he'd ask about like I'd never told him. "Did you have a sports pavilion?" "Which guardian was your special favourite?" At first I thought this was just the drugs, but then I realised his mind was clear enough. What he wanted was not just to hear about Hailsham, but to remember Hailsham, just like it had been his own childhood. He knew he was close to completing and so that's what he was doing: getting me to describe things to him, so they'd really sink in, so that maybe during those sleepless nights, with the drugs and the pain and the exhaustion, the line would blur between what were my memories and what were his. That was when I first understood, really understood, just how lucky we'd been — Tommy, Ruth, me, all the rest of us.

Driving around the country now, I still see things that will remind me of Hailsham. I might pass the corner of a misty field, or see part of a large house in the distance as I come down the side of a valley, even a particular arrangement of poplar trees up on a hillside, and I'll think: "Maybe that's it! I've found it! This actually is Hailsham!" Then I see it's impossible and I go on driving, my thoughts drifting on elsewhere. In particular, there are those pavilions. I spot them all over the country, standing on the far side of playing fields, little

Так что я дней пять или шесть рассказывала ему все, о чем ему хотелось узнать, и у него на лице, хоть он и лежал весь скрюченный, проступала кроткая улыбка. Он расспрашивал обо всем — о большом и малом. Об опекунах, о личных сундучках для коллекций у каждого из нас под кроватью, о футболе, о раундерз, о тропинке, которая шла в обход главного корпуса и всех укромных мест, о пруде для домашних уток, о питании, о виде на поля туманным утром из окон комнаты творчества. Иногда он заставлял меня повторять снова и снова: об услышанном вчера спрашивал так, словно я ни разу еще про это не рассказывала. «А павильон у вас был?.. А кто был твой любимый опекун?» Вначале я объясняла это медикаментами, но потом поняла, что голова у него достаточно ясная. Он хотел не просто слушать про Хейлшем, но вспомнить его, точно свое собственное детство. Он знал, что близок к завершению, вот и требовал от меня, чтобы я все ему описывала, — хотел днем усвоить как следует, чтобы бессонной ночью среди всех этих изнурительных мук, когда обезболивающие не помогают, у него стиралась граница между моими и его воспоминаниями. Тогда-то я и поняла, по-настоящему поняла, как нам повезло — Томми, Рут, мне и всем остальным, кто с нами был.

То, что я встречаю на пути в своих разъездах, и теперь иногда напоминает мне Хейлшем. Скажем, поле, над которым стоит туман. Или, съезжая с холма, вижу вдалеке угол большого здания. Или даже просто взгляд падает на тополиную рощицу на взгорке — и думаю: «Неужели здесь? Нашла! Ведь правда же — Хейлшем!» Потом соображаю — нет, ошибка, невозможно — и еду дальше, мысли переходят на другое. Павильоны — вот что чаще всего привлекает внимание, я повсюду их замечаю. У дальней стороны спор-

white prefab buildings with a row of windows unnaturally high up, tucked almost under the eaves. I think they built a whole lot like that in the fifties and sixties, which is probably when ours was put up. If I drive past one, I keep looking over to it for as long as possible, and one day I'll crash the car like that, but I keep doing it. Not long ago I was driving through an empty stretch of Worcestershire and saw one beside a cricket ground so like ours at Hailsham I actually turned the car and went back for a second look.

We loved our sports pavilion, maybe because it reminded us of those sweet little cottages people always had in picture books when we were young. I can remember us back in the Juniors, pleading with guardians to hold the next lesson in the pavilion instead of the usual room. Then by the time we were in Senior 2—when we were twelve, going on thirteen — the pavilion had become the place to hide out with your best friends when you wanted to get away from the rest of Hailsham.

The pavilion was big enough to take two separate groups without them bothering each other — in the summer, a third group could hang about out on the veranda. But ideally you and your friends wanted the place just to yourselves, so there was often jockeying and arguing. The guardians were always telling us to be civilised about it, but in practice, you needed to have some strong personalities in your group to stand a chance of getting the pavilion during a break or free period. I wasn't exactly the wilting type myself, but I suppose it was really because of Ruth we got in there as often as we did.

Usually we just spread ourselves around the chairs and benches — there'd be five of us, six if Jenny B. came along — and had a good gossip. There was a kind of conversation that could only happen when you were hidden

тивного поля — маленькое белое типовое строение, окошки в ряд необычно высоко, почти под самой крышей. Я думаю, таких очень много настроили в пятидесятые и шестидесятые — тогда же, вероятно, появился и наш. Когда попадаете такой павильон, я смотрю на него и смотрю, пока можно, и однажды, наверное, дело кончится автокатастрофой — но все равно смотрю. Недавно дорога шла по пустынной местности в Вустершире, и у крикетного поля стоял павильон, который был так похож на наш, что я развернулась и проехала немного назад, чтобы посмотреть еще раз.

Мы любили наш павильон — может быть, потому, что он напоминал нам милые маленькие семейные коттеджи на картинках в детских книжках. Помню, в младших классах мы упрашивали опекунов провести очередной урок не там, где обычно, а в павильоне. А ко второму старшему — нам тогда было двенадцать, шел тринадцатый — павильон стал местом, где можно было уединиться с лучшими друзьями, когда хотелось побыть подальше от остальных.

В павильоне спокойно помещались две компании и не мешали друг другу, а летом на веранде могла расположиться и третья. Но в идеале тебе с друзьями или подружками хотелось занять весь павильон, и часто из-за этого начинались разные маневры и споры. Опекуны то и дело напоминали нам, что решать эти вопросы надо цивилизованно, но на практике, чтобы твоя компания получила павильон на перемену или на свободное время, в ее составе должны были быть сильные личности. Я сама была не робкого десятка, но думаю, что мы так часто занимали павильон благодаря Рут.

Обычно мы рассаживались на стульях и скамейках — нас было пятеро, а если подключалась Дженни Б., то шестеро — и давали волю языкам. Такие разговоры только там, в уединении, и могли проис-

away in the pavilion; we might discuss something that was worrying us, or we might end up screaming with laughter, or in a furious row. Mostly, it was a way to unwind for a while with your closest friends.

On the particular afternoon I'm now thinking of, we were standing up on stools and benches, crowding around the high windows. That gave us a clear view of the North Playing Field where about a dozen boys from our year and Senior 3 had gathered to play football. There was bright sunshine, but it must have been raining earlier that day because I can remember how the sun was glinting on the muddy surface of the grass.

Someone said we shouldn't be so obvious about watching, but we hardly moved back at all. Then Ruth said: "He doesn't suspect a thing. Look at him. He really doesn't suspect a thing."

When she said this, I looked at her and searched for signs of disapproval about what the boys were going to do to Tommy. But the next second Ruth gave a little laugh and said: "The idiot!"

And I realised that for Ruth and the others, whatever the boys chose to do was pretty remote from us; whether we approved or not didn't come into it. We were gathered around the windows at that moment not because we relished the prospect of seeing Tommy get humiliated yet again, but just because we'd heard about this latest plot and were vaguely curious to watch it unfold. In those days, I don't think what the boys did amongst themselves went much deeper than that. For Ruth, for the others, it was that detached, and the chances are that's how it was for me too.

Or maybe I'm remembering it wrong. Maybe even then, when I saw Tommy rushing about that field, undisguised delight on his face to be accepted back in the fold

ходить: мы делились всякими волнениями и заботами, задушевная беседа вполне могла кончиться взрывом хохота или яростной перепалкой. Прежде всего это был способ немного расслабиться, выпустить пар в дружеском обществе.

В тот день, который я сейчас вспоминаю, мы стояли на табуретках и скамейках и глядели в окошки под потолком. Оттуда хорошо было видно северное игровое поле, где собралось для игры в футбол десять-двенадцать мальчишек из второго старшего, как мы, и из третьего. Светило яркое солнце, но утром, наверное, прошел дождь: я помню, как на траве блестела грязь.

Кто-то из нас заметил, что не стоило бы таращить так явно, но ни одна голова от окон не отодвинулась. Потом Рут сказала: «Он ничего не подозревает. Надо же — совсем ничего».

Услышав это, я бросила на нее взгляд — хотела увидеть, нет ли на ее лице следа неодобрения по поводу того, как ребята собираются поступить с Томми. Но секунду спустя Рут усмехнулась и сказала: «Идиот!»

И я поняла, что в глазах Рут и всей нашей компании замыслы мальчишек были чем-то довольно далеким от нас, одобрять или нет — такого вопроса не возникало. Мы не потому собрались у окон, что хотели порадоваться новому унижению Томми, а просто потому, что слышали про сегодняшнюю затею и нам было немного любопытно, что из всего этого выйдет. Не думаю, что в то время мальчишеские дела занимали нас сильнее. Для Рут и девочек это были вещи, в общем, чужие, и для меня, скорее всего, тоже.

Или, может быть, я ошибаюсь. Может быть, уже тогда при виде Томми, который носился по полю, давая волю радости из-за того, что его опять берут